

УДК 82-6

# Я БЫЛ. Я УШЕЛ. Я С ВАМИ...

**СОБОЛЕВ Петр Васильевич,**

доктор философских наук, профессор кафедры эстетики и искусства,  
Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена

**АННОТАЦИЯ.** Воспоминания Петра Васильевича Соболева (1920–1994), выпускника факультета русского языка и литературы Воронежского государственного педагогического института 1941 года, участника Великой Отечественной войны, доктора философских наук, создавшего кафедру эстетики и искусства в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена в 1982 году, которой он руководил в течение трех лет, а затем оставался профессором до конца жизни. Работы П.В. Соболева положили начало изучению русской эстетической мысли первой половины XIX века.<sup>1</sup>

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** произвольные aberrации, школа человечности и интеллигенции, Загоровский, Редник, Шингарев, Самбикина, Каплинский.

**SOBOLEV P. V.,**

Dr. Philosoph. Sci., Professor of Aesthetics and Art  
Leningrad State Pedagogical Institute named after A. I. Herzen

**I WAS. I WENT AWAY. I AM WITH YOU...**

**ABSTRACT.** Memories of Pyotr Vasilievich Sobolev (1920–1994), a graduate of the faculty of Russian language and literature of Voronezh State Pedagogical Institute of the year 1941, the participant of the Great Patriotic War, Doctor of Philosophy. P.V. Sobolev founded the Department of Aesthetics and Art at the Leningrad State Pedagogical Institute named after A.I. Herzen in 1982, which he had chaired for three years, and then remained its Professor until the end of his life (the works of P.C. Sobolev initiated the study of Russian aesthetic thought of the first half of the 19th century).

**KEY WORDS:** spontaneous aberration, school of humanity and intelligence, Zagorovsky, Rednic, Shingarev, Sambucina, Kaplinski.

**М**илый Владимир Андреевич<sup>2</sup> – так мы когда-то между собой тебя называли. Нам было на круг восемнадцать, тебе – двадцать четыре. Для того нашего возраста это немалая дистанция: мы еще только становились, а ты уже стал самим собой. Ты отличался от нас студенческим обликом, жизненным опытом, сосредоточенностью на чем-то своем, тобою пережитом, только тебе известном. Однако это не мешало нам считать тебя «своим» вопреки распространенному теперь представлению о неизбежной взаимоотчужденности поколений. В учебном наборе '38года, кроме тебя, были и другие абитуриенты, которым пришлось побороться за себя, пробиваясь в студенты. Это были хорошие люди. Но в тебе было, помимо ума и порядочности, что-то трогательное: при твоей взрослости ты был застенчив, в чем-то наивен; поэтому мы относились к тебе не только с приятностью, но и с любовью.

С тех пор полвека прошло, а мне захотелось именно так к тебе обратиться – милый Владимир Андреевич – потому что ты разыскал меня, «постучал молоточком», напомнил: нужно отдавать должное тем, кто нас когда-то образовывал, воспитывал, отесывал.

Благодарю тебя за фотографию Василия Яковлевича<sup>3</sup> и предложение принять участие в сборнике, ему посвященном, но сомневаюсь в своей способности написать что-либо в строго мемуарном жанре.

Ты знал Василия Яковлевича не только по институту. Уникален составленный тобой свод материалов для его биографии и указателя его печатных трудов. Я же был всего лишь слушателем его лекций. Мои конспекты и наивная студенческая работа об античном романе сгорели в июне '42 года вместе с книгами, которые я собирал, заходя в «Книжную лавку Чернышева». (Помнишь этот букинистический магазин? Там ежедневно обновлялся «развал», и из него можно было выудить редкостные издания, начиная с шестидесятых годов XIX века.) Я располагаю немногим: фрагментами памяти и чудом сохранившейся карманной записной книжкой того времени.

Впрочем, я уже говорил тебе о моих сомнениях, но ты ответил, что может пригодиться все, что вспомнится. Теперь я думаю, что ты прав. Невозможно воссоздать облик Василия Яковлевича только «по документам». Нужно восстановить приметы времени, среду, его отношение к нам.

<sup>1</sup> Похоронен согласно завещанию в Воронеже на Сомовском кладбище.

<sup>2</sup> Лебедев В.А. (1914-1999) – однокурсник П.В. Соболева, посвятивший последние годы своей жизни сбору материалов об их общем учителе В.Я. Каплинском. Воспоминания П.В. Соболева инициированы В.А. Лебедевым и представлены в форме письма к последнему.

<sup>3</sup> Каплинский В.Я. (1892-1939) – профессор, первый декан факультета русского языка и литературы, заведующий кафедрой литературы (1931-1939).

А через это отношение – строй его души, нравственный мир, характер. Но тогда не обойтись без реконструкции наших «частных ситуаций» и экзистенциальных состояний.

Не для того чтобы привлечь внимание к собственной персоне, а потому что, если это исключить, исчезнут живые человеческие связи.

То, что я попытаюсь вспомнить, рассматривай, пожалуйста, как сильную помощь в собирании и сохранении реликтов, о ценности которых почти забыли в этом сдвинувшемся мире.

Это всего лишь письмо к тебе, но я прошу отнестись к нему без дружеской снисходительности: в современном моем видении и понимании того, что я когда-то видел и переживал, в моих размышлениях и оценках может возникнуть произвольная аберрация.

\* \* \*

Город, в котором мы жили, ни по каким статьям нельзя отнести к числу провинциальных. И институт, в котором мы учились, тоже. На факультете русского языка и литературы немало было преподавателей по призванию, людей талантливых, самобытных, подлинно интеллигентных.

Если бы можно было издать лекции Павла Леонидовича Загоровского<sup>1</sup>. Это был курс общей психологии. А в действительности – еще и введение в человековедение, изящные экскурсии в тайное тайных художественного творчества, артистические этюды о психологических прозрениях Пушкина, Гончарова, Тургенева, Достоевского, Чехова... Да и сам Павел Леонидович был не профессором, рассуждающим о психологии, а мудрым психологом и врачом. Вопреки воле Павла Леонидовича, в полном противоречии с его душевным складом и характером, ему была уготована фантазмагорическая роль заместителя директора института – и он стал в этой должности нашим защитником и спасателем. Вот и я был принят в институт вопреки негласной инструкции, рекомендовавшей опускать полосатый шлагбаум перед наследственно-социально-неполноценными абитуриентами. В моем «досье» значилось: отец «осужден по 58-й статье УК СССР». Но Павел Леонидович на моем заявлении написал: «Зачислить».

Лекции Павла Леонидовича, да и всю его деятельность, можно назвать школой человечественности и интеллигентности. Вместе с тем, в силу счастливых обстоятельств, оказалась доступной для нас пропедевтическая школа философской мысли. Вольф Давидович Резник<sup>2</sup>, читавший историю философии, оказался в Воронеже по принципу «минус шесть городов»<sup>3</sup> (в число которых наш город, по счастью, не входил) после пребывания в местах более отдаленных и обнесенных колючей проволокой. Читал он на истфаке, поэтому мы его слушали «незаконно» – и тем более увлеченно. К тому времени (на третьем курсе) набил нам оскомину псевдофилософская жвачка, а он очищал концепции «немарксистских» мыслителей от идеологических пе-

ретолкований и тем учил нас «отмывать истину». Неординарными были и его лекции по истории западноевропейского искусства, адресованные нам, филологам. Слушая их, мы побывали в творческой лаборатории, в которой готовились будущие его работы (напечатанные под псевдонимом «Владимир Днепров»). Свообразными уроками философии искусства можно назвать его публичные выступления (помнишь его «Вступительное слово» к обсуждению постановки «Гамлета» в Воронежском драматическом театре?).

Супруга Вольфа Давидовича Екатерина Дмитриевна Трощенко<sup>4</sup>, светловолосая и светлоглазая, хрупкая, ранимая (в нашей «студенческой мифологии» она символизировала Маргариту, а он – Фауста), читала нам историю русской литературы конца XIX – начала XX веков. Построение правдивой ее картины началось лишь недавно, в начале восьмидесятых годов. Екатерина Дмитриевна смело восстанавливала справедливость в конце тридцатых. Творчество Блока, Белого, Кузмина, Ахматовой, Гумилева, раннего Маяковского представало перед нами без цензурных изъятий и препарирования. А вместо официозных восторгов по поводу открытий «социалистического реализма» – анализ полузапрещенных стихов Хлебникова, Есенина, Пастернака, Багрицкого. И рассказы о тех, кого знала она по литературным и дружеским встречам. Это тоже была школа – не только литературоведческая, но и нравственная.

В начале сорок первого года жизнь ее нелепо оборвалась: приехав в Москву на ассамблею литературных критиков, она в задумчивости или по рассеянности не заметила, что знаки светофора переменились – и шагнула под проходивший мимо троллейбус<sup>5</sup>. Не избежала ли она более страшной участи?

Стратегия нашего образования (при всех нелепых приложениях в виде инородных филологии «циклов») была более гуманистичной, чем в последующие годы. Нам читались полноценные с точки зрения учебных программ (хотя и не равноценные с точки зрения познаний сменявших друг друга на кафедре лекторов) курсы по Истории Древнего мира, Средневековья, Возрождения и Нового времени. Но историзм мышления воспитывался не только академическими лекциями. Маргинальный, казалось бы, семинар по латинскому языку вел ученик В.О. Ключевского – Борис Леонидович Шингарев<sup>6</sup>. У него был нелепый характер, и когда он уставал от стараний посвятить нас в тайну «совершеннейшего из языков» (в том, что это так, он был твердо убежден), то, не скрывая своей огорченности нашей бестолковостью, он мог сказать: «Коэффициент полезного действия у вас – как у паровоза – 3%». Но мы умели переключить его на толкование текстов. Старик добрей, оживлялся, и мы прикасались к живой истории античного Рима и его художественной культуре. Стихи он читал нараспев – так, как произносили их латиняне: ритмические доли воз-

<sup>1</sup> Загоровский П.Л. (1892-1952) - профессор, заместитель директора института по научной и учебной работе. В последние годы заведующий кафедрой психологии.

<sup>2</sup> Резник В.Д. (1903-1992)- преподаватель философии, литературовед.

<sup>3</sup> Форма административного преследования, когда освобожденному из заключения человеку запрещалось проживать в определенных городах.

<sup>4</sup> Трощенко Е.Д. (1902-1944)-литературовед, критик.

<sup>5</sup> Вероятно, мемуарист ошибается в датировке гибели Е.Д. Трощенко.

<sup>6</sup> Сведений о Б.Л. Шингареве в архиве института не сохранилось.

никали в чередовании долгих и кратких гласных: «Est via sublimis celo manifesta sereno...»<sup>7</sup>.

Случалось и так, что Борисом Леонидовичем овладевала ностальгия. Тогда, отвлекшись от разъяснения различий между латинским падежом и русским творительным, он начинал разъяснять, чем отличался уклад университетской жизни конца XIX века от современного. И, конечно же, вспоминал о своем учителе. Вот один из таких его рассказов. «Окончив свой курс и прощаясь с нами, Василий Осипович сказал: "Сегодня я испытываю сложное чувство. Я полюбил вас, а теперь настало время расстаться. После вас придут в эту аудиторию другие милые люди, а потом, когда я привыкну видеть их молодые славные лица, уйдут и они. Я – как старая седая ива на берегу реки человеческой. Смотрю на мимо бегущие волны"» (3 февраля 1940 года).

И наконец, – «школа педагогическая». Слушая лекции «Курского соловья»<sup>8</sup> (прозванного так за сладкоголосое риторически-дидактическое пусто-слово), я стал думать, что такой науки не существует. Экзамен сдал на тройку, и то со второго захода, поскольку «говорил не то и не так, как надо». Но затем все мы стали «приемными детьми» Марии Васильевны Самбикиной<sup>9</sup>, ведавшей кафедрой методики. Какой помню ее? – Она называла нас «несмысленными существами» и учила азам будущей нашей профессии. Во всем, что она делала, – природный ум, опыт, мастерство. Она не щадила нас ради нас самих и ради тех полных несмысленшей, которым предстояло попасть в наши руки. Придирчивое чтение наших конспектов и разборы пробных уроков, бескомпромиссные оценки, да к тому же еще и никакими инструкциями не предусмотренные испытания на владение русским языком, чтобы мы могли убедиться в своей полуграмотности. Она заставляла нас писать сочинения и диктанты, а затем мы читали эти наши «ученические опусы», проверяли их по принципу рокировки и выставляли друг другу «честные баллы». Вскоре нам стало ясно, что за ее суровостью – желание добра, за иронией – любовь к «приемышам», за твердостью воли – душевность. И мы могли убедиться, что, помимо учителей, есть Учители, что талант педагогический – столь же сложный комплекс способностей, как талант художественный, и что залог любого таланта – не «вера в себя» (оборачивающаяся банальной самодеятельностью), а сомнения, недовольство собой и добровольный пожизненно-каторжный труд.

В октябре сорок первого, пройдя через дополнительный «летний учебный семестр», мы досрочно сдавали выпускные экзамены. Мария Васильевна стала нашей «крестной матерью»: она председательствовала в государственной комиссии. «Заседали» в подвале университета (в нашем институте был развернут военный госпиталь). Над головой, за прочными сводами бывшего кадетского корпуса, погромыхивало: был налет, стреляли зенитки. Но

Марию Васильевну (да и нас) это не пугало, а даже как-то парадоксально бодрило. В тот же день были готовы дипломы, и в них ее – нап  
Приложение  
пись.

\* \* \*

Я помянул добрым словом тех, в благотворном поле воздействия которых складывалась моя «духовная самость». Понимаю, что всякая избирательность субъективна, и, может быть, ты назовешь в числе своих духовных учителей также других достойных людей. Но мы уже сошлись с тобой на том, что среди всех, кому мы обязаны тем хорошим, чем, может быть, обладаем, особая дань благодарности – Василию Яковлевичу.

Спрашивая себя – почему, я вспоминаю первые дни моей студенческой жизни. Не идеализируя поколения, к которому я принадлежал (а следовательно, и себя), скажу, что мы были простодушны, а потому испытывали радостно-тревожное предощущение вступления в новую фазу бытия и сомневались, удастся ли нам, слушая лектора, понять, вдуматься, осмыслить да еще и записать или запомнить.

В то далекое уже время звание профессора, почетное и редкое, свидетельствовало об учености и заслуженном уважении (впоследствии мы могли убедиться, что бывают и огорчительные несоответствия). Имя Василия Яковлевича было известно и почитаемо. Готовясь его увидеть и услышать, каждый «предображал» его по-своему. Но оказалось, что никто не представлял его таким, каким мы его увидели.

Легко двигаясь, вошел человек среднего роста, пикнического сложения (но без избыточной полноты). Фотография, тобою присланная (да, думаю, что и все другие), тем, кто не знал Василия Яковлевича, позволит составить приблизительное представление только о лепке его лица. Живописными же его особенностями были серо-голубые глаза, гладкая не по возрасту, без морщин кожа, легкий румянец, небольшой красиво очерченный рот, ровные здоровые зубы и неожиданная седина в коротко стриженных волосах, расчесанных по-старинному, на прямой пробор. Было что-то успокаивающее в его ясном взгляде, в открытой и доверчивой улыбке.

Ты просишь подробнее описать его улыбку. Второй день бьюсь над этим. В улыбке непроизвольной бессознательно изъясняется душевное состояние. Но если улыбка адресована аудитории, то она заведомо информативна. Может ли она дать верное представление о человеке? Полагаю, что может, при условии, что не наиграна. Но и в том и в другом случае – как передать словами смысл соответствующего мимического действия? Может быть, поможет сравнение улыбки Василия Яковлевича и тех, кто, как и он, никогда не лицедействовал, «не работал на публику».

Мучительно было видеть улыбку Павла Леонидовича – нервную, горькую, как бы «защитную», даже страдальческую. Она выдавала его за пределы уютности, перемогаемую им сердечную боль (у него часто случались приступы), а вместе с тем – тревогу за нас. Он понимал, что, приобретая черты интеллигентности, мы оказываемся в положении «без вины виноватых»: ведь в то время интеллигентность обыденным сознанием воспринималась как свидетельство неполноценности, дряблости; сознанием идеологизированным – как потенциальная неблагонадежность. Поэтому с лица Пав-

<sup>7</sup> Цитата из «Метаморфоз» Овидия. Кн. 1, стих 168: «Есть дорога в выси, на ясном зримая небе» (гер. С. Шервинского).

<sup>8</sup> Иванов С.В. (1890–1968) – доктор педагогических наук, профессор. Первый заведующий кафедрой педагогики с 1931 по 1936 годы.

<sup>9</sup> Самбикина М.В. (1886–1980) – заведующая кафедрой русского языка. Декан факультета иностранных языков в годы войны.

ла Леонидовича не сходила улыбка «испуганного интеллигента».

Вольф Давидович улыбался улыбкой саркастической. Она была обращена не к нам, а к самому себе. Это случалось, когда ему удавалось показать мнимую диалектичность какой-нибудь общепринятой «бетонной» концепции. Но он тотчас же стирал эту улыбку машинальным движением руки, проводя по лицу обратной стороной кисти. Осторожность и скрытность бывшего зека. Иногда он улыбался застенчиво-торжествующе. Но тоже не нам: он радовался, что ему удавалось выстроить изящную эстетическую теорему. Мы (я имею в виду тех, кто «проникал» на его лекции и увлеченно следил за безупречной логикой его мысли) понимали, что это – следствие сосредоточенности и «наработанной замкнутости». Если мы подходили к нему по окончании лекции с желанием продолжить обсуждение проблемы, он вежливо, но твердо отказывался: «Я сказал все, что мог сказать».

Василий Яковлевич улыбался светло и бестревожно. Ни разу не видел я его пасмурным и удрученным. Да и другие тоже. Чем объяснить это? Психическим здоровьем и благоприятными условиями его «частной жизни»? Но не мог же он жить в вакууме и, будучи человеком духовно суверенным, не осознавать inferнальности социальной ситуации, не переживать совершавшейся общенародной трагедии.

Я удивляюсь тем мыслящим людям, которые, пережив это проклятое время, покаянно сокрушаются, что они не понимали происшедшего, были обмануты, слепо верили. Словно они росли в оранжереях и воспитывались в благородных пансионах...

Мы понимали, почему внезапно, без объяснений, исчезали наши преподаватели; почему перестали мы встречать на общеинститутских и профсоюзных собраниях некоторых старшекурсников. Шла охота на тех, кто обладал умом не стадным направлением<sup>10</sup>, и, помимо выполнения плана отлова «врагов народа», исполнители брали встречные обязательства. Никто не знал, когда настанет его очередь.

Конечно же, Василий Яковлевич ожидал, что раздастся ночной стук в дверь его дома. Или более прозаично: по окончании его лекции подойдет к нему «некто в коверкоте», с серым от «ночной работы» лицом и ничего человеческого не содержащим взглядом. Но он не позволял себе обнаруживать свои тягостные душевные состояния. Стоицизм и высокая воспитанность! А еще, я думаю, что он обладал способностью, входя в аудиторию, забывать о себе и делать то, к чему лежит душа.

Его улыбку я бы назвал зримым излучением светлой душевной ауры доброго, нравственного, стойкого человека. Испытывая воздействие этой ауры, мы не догадывались, что он тоже «заряжался» в общении с нами. Мы были молоды, а потому счастливы вопреки всяческим неустройствам и бедам. Мы радовались каждой встрече с Василием Яковлевичем, а он радовался нам – и тому, что может приобщить нас к искусству, созданному «счастливыми детьми человеческими» (В. Гете).

\* \* \*

Восстановить содержание лекций по истории античной литературы, которые читал нам Василий Яковлевич, за давностью лет невозможно. Но я попытаюсь дать представление о своеобразии его авторского курса. Говоря так, я имею в виду нетрадиционное сочетание литературоведческого подхода с культурологическим и семиологическим и нетрадиционность методических приемов. Начиная с вводной лекции, мы стали не просто старательными слушателями, штудирующими учебную дисциплину, но его единомышленниками. Мы переместились во времени и оказались свидетелями становления уникальной художественной культуры. Нас захватил его рассказ о дорийцах, длинноволосых, светлоглазых, одетых в звериные шкуры кочевниках, которые пришли на берега и острова Эгейского моря, покорили аборигенов, ассимилировали ранее неизвестную им цивилизацию и из номад<sup>11</sup> превратились в виноградарей, атлетов-многоборцев, строителей, ваятелей, поэтов, мыслителей.

После того, как мы мысленно «переселились» в незнакомую нам ойкумену, Василий Яковлевич рассказал нам о том, что неизвестные пришельцы вели свой род от легендарного героя Эллина, о сотворенной их воображением мифологической картине мира и о героическом эллинском эпосе. Затем он посвятил нас в существо споров вокруг «гомеровского вопроса» и предложил вчитаться в поэмы «великого старца» и ответить на вопросы, которые он нам продиктует. Эти вопросы, предупредил он, мы будем обсуждать на семинаре, а некоторые – войдут в экзаменационные билеты...

Обращаясь к анализу и истолкованию первоисточников, Василий Яковлевич нередко читал нам их фрагменты в оригинале, чтобы мы услышали звуки «умолкнувшей речи», а затем предлагал свои переводы (он в совершенстве знал древнегреческий и классическую латынь). А нам он посоветовал по ходу лекций и самостоятельных чтений составлять «толковый словарь» с объяснением этимологии и смыслов таких греческих и латинских понятий, которые со временем приобрели статус научных терминов («космос» и «космос», «ойкос» и «ойкумена», «трагос» и «эйдос», «комос» и «комедия», «стилос» и «стиль», «талантон», «генциус»...). Со временем я понял, что он прививал нам культуру исследовательского мышления и воспитывал ответственность перед словом, без которой все научные писания (да и лекции) превращаются в наукообразную болтовню.

Однажды я услышал мнение, что лекции Василия Яковлевича рассчитаны на популярность и что их доступность достигается за счет глубины. Будучи одним из тех, для кого эти лекции читались, могу сказать, что мнение это вызвано незнанием и профессиональным снобизмом. Он не искал популярности, но и не старался поразить «профессорской ученостью». Он обладал редким даром говорить о «сложных материях» ясно и просто. И при том – не упрощая. Он был посредником между «большой наукой» и аудиторией, неоднородной с точки зрения готовности осваивать плоды научных изысканий.

По мере того как мы, первокурсники, вработывались в предмет, лекции Василия Яковлевича ста-

<sup>10</sup> Парафраз известной цитаты Е. Баратынского: «Ума не общим выраженьем».

<sup>11</sup> Номады (древнегреч.) – кочевники.

новились более «теоретичными», «философичными». В качестве парадигмы могу привести его концепцию становления античной трагедии: от экзотических дионисийских «действ» – к нравственному освещающему, эстетически упорядоченному сценическому действию, от ритуала жертвоприношения – к осознанию «судьбы», от неистовства – к катарсису. А после этого – удивительно глубокий анализ роли театра в жизни греческого полиса: театр как зрелище, театр как общественный форум, служащий гражданственному единению; театр как архитектурное сооружение, вмещающее почти все взрослое население города. И – удивительная деталь: зрители не должны были платить. Напротив, всем приходившим выдавалось денежное вознаграждение!

Василий Яковлевич помог нам в самом трудном: увидеть сквозь пласты времени вневременное, открыть возвышенное в простодушном. Художественным аналогом такого видения и осмысления античной культуры могут послужить реминисценции современного поэта Яниса Ридоса в цикле его стихотворений о Навзикае.

Я увидела его на берегу, среди канатов,  
обнаженного, с водорослями в волосах.  
Я ничего не хочу,  
только отлепить малые камешки,  
что пристали к его босым ступням...  
Он теперь спит неподалеку, укрытый цветным  
тряпьем.

Когда к вечеру вернулась она с речного берега  
в город приморский, где даже в виноградной  
беседке  
можно натолкнуться на корабельную мачту,  
братья сами вышли навстречу ей из дворца...  
и в дом понесли выстиранное белье,  
душистое от солнца, лавра и мыла...  
Был час, когда рабыни зажигают лампы  
и подают ужин.

Девушка сияла в тот вечер какой-то иной  
красотой

И дрожала, боясь, как бы не заметили братья,  
что одного платья не хватает.

Никто ничего, разумеется, не заметил.

Чужестранец остался один за щедро политым садом...

Когда вошел во дворец,  
Только Ариетта узнала одежду сына своего Лаодомонта на плечах Одиссея.

Он встал перед ней на колени,  
и она приняла его как родного сына...

\* \* \*

Дать понятие о стиле лекций Василия Яковлевича еще более трудно. Можно быть своеобразным, даже оригинальным, и все-таки обладать не стилем, а лишь манерой. Так в искусстве, так и в жизни. Может быть, здесь вновь поможет сравнение. Попытаюсь вспомнить колоритные фигуры некоторых лекторов, заменив их имена на безличные криптонимы и сохраняя студенческий юмор, да и к тому же нет ничего обидного в том, что другие нас видят не такими, какими мы сами себе представляемся.

Открывалась дверь «большой филологической аудитории», и входил неизменно опаздывающий на

свои занятия N<sup>12</sup> – тоже большой, даже громоздкий, взлохмаченный, в поношенном измятом костюме, таща огромный потертый портфель, набитый книгами и казенными бумагами (зачетными ведомостями, списками и приказами, которые он должен был внедрять). Некоторое время он прохаживался пред кафедрой. Потом, вспом *Приложение* его прихода, резким высоким голосом, растягивая гласные и делая продолжительные паузы, почти диктуя, начинал излагать идеи немецкой лингвистической школы, наводившие на нас тоску и сон. Мы называли его «Бопп и Шляйхер». Буду справедливым: когда я обратился к трудам В. Гумбольдта<sup>13</sup>, Боппа<sup>14</sup>, Шляйхера<sup>15</sup>, Дельбрюка<sup>16</sup>, то убедился – если одолеть чуждые русскому уму и языку многосоставные конструкции да еще отжать лишние слова, окажется, что напрасно не записывал я лекции N, в которых все это удобопонятно излагалось. А когда приходило время экзамена, то всем затруднявшимся ответить на вопрос, он повторно, терпеливо растолковывал немецкие премудрости. И тем, кто понял, ставил положительную оценку...

NN<sup>17</sup> – низкорослый, миниатюрный, подвижный, как ртуть, не входил, а вбегал в аудиторию. Он всегда находился в состоянии восторженного экстаза. Нервно подергивая маленькой черной головкой, шепелявя, неразборчиво выговаривая слова, читал нараспев былины и «новины», истово доказывая нам, что в фольклоре – начало всех начал (а также, в свернутом виде, все предстоящие художественные открытия). Он не безуспешно работал как собиратель и исследователь, но страдал комплексом неполноценности, смущался, искал внимания и одобрения. Мы жалели его и называли уменьшительным именем «Вячик».

Торжественно являлся в проеме двери NNN<sup>18</sup>. Крупное ширококостное сухое тело, хорошо вылепленное природой лицо, выразительный нос и академическая «ермолка» на лысом черепе делали его похожим на Державина. Он знал это и гордился этим, так же как и профессорским званием, присвоенным ему *honoris causa* за многолетнюю педагогическую деятельность. Включаясь в игру, мы проносили сакраментальную фразу: «Старик Державин нас заметил», – и почтительно слушали маститого старца. У студентов не только своя мифология и фольклор, но и свои предания. Старшекурсники заблаговременно передали нам «по цепочке», что,

<sup>12</sup> Николай Васильевич Успенский (?).

<sup>13</sup> Гумбольдт В. (1767–1835) – основоположник теоретического языкознания. Развил учение о «внутренней форме» языка как выражении индивидуального мирозерцания народа.

<sup>14</sup> Бопп Ф. (1791–1867) – немецкий языковед, профессор Берлинского университета, основатель сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и сравнительного языкознания.

<sup>15</sup> Шляйхер А. (1821–1868) – немецкий лингвист, профессор Йенского университета. Под влиянием учения Ч. Дарвина представил языковые типы в строгой эволюционной цепочке.

<sup>16</sup> Дельбрюк Б. (1842–1922) – немецкий лингвист. Профессор санскрита и компаративистики в Йене (1870). Основоположник сравнительного синтаксиса индоевропейских языков.

<sup>17</sup> Тонков В.А. (1903–1974) – профессор, заслуженный деятель науки.

<sup>18</sup> Плотников И.П. (1880–1955) – профессор ВГУ с 1931 по 1950 годы. Заведующий кафедрой русской литературы.

сообщая нам свой учительский опыт, NNN обязательно будет повествовать историю своей жизни. И действительно, в надлежащее время мы услышали подробный рассказ о его поездке в Италию в компании земских учителей. Больше всего мы удивлялись тому, что можно было так вот, запросто, собраться вместе и отправиться в Венецию. А потом уцелеть и не бояться об этом публично рассказывать.

NNNN<sup>19</sup>, иронично прозванный «счастливым» (поскольку он не без успеха делал карьеру на ниве официальной критики), вел себя в аудитории так, как будто снимался в кинофильме: поднявшись на кафедру, картинно опирался на нее согнутой правой рукой, голову склонял тоже вправо, упирал указательный палец в пухлую щеку и застыл в позе глубокомысленного самоуглубления. Глядя куда-то вдаль, поверх наших голов, он цитировал и язвительно комментировал работы В.Б. Шкловского, В.М. Жирмунского, Ю.Н. Тынянова. Изъяснялся он «изысканно» и сложно, как бы роняя слова и не скрывая от нас, что не рассчитывает быть понятным – поскольку наука, которую он перед нами представляет, метаэмпирична и требует высококоразвитого теоретического мышления. Он оберегал свой престиж и становился агрессивным, замечая, что мы относимся к нему иронично. В число забавных «антиафоризмов», которые мы коллекционировали, вошел его ответ на вопрос: почему одни авторы употребляют термин «сюжет», а другие – в том же значении – слово «фабула»? Порассуждав вслух об этих сложных материях и запутавшись, он назидательно заключил: «Словом, фабула не сюжет, а сюжет – не фабула».

Мы нередко шутили по поводу странности тех, к кому относились с симпатией. Но я не припоминаю даже оттенка иронии по отношению к Василию Яковлевичу. Думаю, что причина – в естественности и простоте. Он был свободен от комплексов. Никаких претензий, ничего экстравагантного в манере держаться, никакой аффектации в языке и интонациях. Голос – без опоры на диафрагму, негромкий и мягкий по тембру, но при этом каждое слово явственно слышно в многолюдной аудитории. Спокойная ясная речь мудрого человека. На всех действующее тихое обаяние.

В его облике было что-то проповедническое, что-то от тех истинно верующих батюшек, которые, не помышляя подняться по ступенькам церковной иерархии, видели свое призвание в том, чтобы научить прихожан жить по законам божеским и человеческим. Учили их детей грамоте, а своих отдавали в духовные и учительские семинарии, и становились некоторые из них ревнителями просвещения, полиглотами, книголюбями, поступали в духовные академии, из которых выходили людьми философски образованными. Символична жизнь И.И. Мартынова<sup>20</sup>, бурсака, а затем – слушателя академии, который сначала был переводчиком с древнегреческого языка античных лириков и трагиков, а затем (начиная с 1804 года) профессорствовал в Санкт-Петербургском педагогическом институте и читал курс эстетики будущим преподавателям других педагогических институтов, лицеев, университетов. Среди его любимых учеников – «об-

разователи» Пушкина, профессора Царскосельского лицея А.П. Куницын, А.И. Галич, П.Е. Георгиевский (тоже выходцы из духовного сословия).

Не думаю, что Василий Яковлевич был верующим в строго-конфессиональном смысле этого слова. Но, конечно же, он верил. Верил, что не бессмысленно его существование, верил, что не напрасна его деятельность, верил в си. *Приложение*

\* \* \*

Стиль (имею в виду человека, его личность) можно определить как способность сознавать себя, быть собой и «быть по себе», выражая себя в образе жизни и образе мыслей, в том, что делаешь, как относишься к другим людям.

В моем «библиографическом письме», в кратких аннотациях к печатным работам Василия Яковлевича ты говоришь о неизменной гуманистической их направленности, о «проповеди любви». Так было и в других модусах его самопроявления.

Нелегкое дело – читать курс: в том, как мы это делаем, высвечиваются не только наши познания, но и человеческие наши свойства. Однако не меньшее испытание на человечественность – экзамен. Это экстремальная ситуация для студентов, стрессовое состояние; но и для преподавателя это непростой «тест» – на профессионализм, душевную чуткость, способность к распознаванию, наконец, нравственную порядочность. Не каждый из тех, кто сидит «по ту сторону» экзаменационного стола, может отключиться от не идущих к делу состояний и настроений, не поддаться бесконтрольно возникающим симпатиям (или антипатиям) по отношению к студентам, которые оказываются в положении бесправном. Не все мы свободны от амбициозности и абсолютизации сложившихся у нас стереотипов мышления. От нас зависит – превратится ли экзамен в насилие над личностью студента или станет актом общения, способствующим умственному его взрослению.

Готовясь к экзамену по античной литературе, я переживал попеременно то тягостное ожидание провала, то надежду, что мои представления о способности осваивать «изящные науки» (и «науку изящного») не окажутся прекрасодушными мечтаниями. Когда после нескольких дней ревизии моих познаний (и, конечно же, бессонной ночи) я в числе добровольцев вошел в аудиторию, Василий Яковлевич первый сказал нам: «Доброе утро!».

Вопросы в билете были благодарными для размышлений: «Илиада» и эллинистический роман. Мне хотелось ответить так, чтобы не принуждать Василия Яковлевича выслушивать пересказ его собственных идей, и я пустился в самостоятельное плавание. Но мне не хватало познаний и опыта. К тому же перипетии сражений, подвиги ахейцев и троянцев меня не захватывали: познавательно – интересно, но душа не отзывалась. Дети человеческие играли в бесчеловечные игры. У них не было своей воли, не было сознания ценности краткого их пребывания в удивительной ойкумене – еще не до конца освоенной, не до абсурда «человеченной», а потому гармоничной. И вот они же убивают равных себе, убивают без чувства вины перед ними, по воле богов, которых сами сотворили. И умирают с улыбкой.

Василий Яковлевич терпеливо слушал мой дилетантский лепет, не обнаруживая своего отношения. Мне теперь кажется, что он изучал меня, как мно-

<sup>19</sup> Воробьев - доцент кафедры литературы.

<sup>20</sup> Мартынов И.И. (1771–1833) – журналист и переводчик.

гопытный врач страждущего пациента. А диагноз мог быть таким: невербальное мышление преобладает над логическим, переживание – над анализом, возбуждение – над торможением. И еще я думаю, что, читая мое состояние, он смотрел на все происходящее как бы из студенческого своего прошлого. Иногда он деликатно поправлял меня: «Вот Вы сказали... но не кажется ли Вам... Вы романтизируете реальное состояние древнегреческой ойкумены. Гармония уже тогда была нарушена: эллины были мореплавателями и, строя корабли, вырубали сосновые и кедровые леса на доступных им взгорьях. Оскудевал и животный мир, их окружавший... Улыбка эллинов не была безмятежной: они знали, что в царстве Аида станут тенями, и никому не дано из него возвратиться».

Об эллинистическом романе я говорил более внятно и логично, потому что все было для меня более прозрачным. Судьбами персонажей управляли не только боги, но и собственная их решимость, а главное – в них самих, в их характерах, переживаниях, действиях появилось что-то, соотносимое с восприятием мира, которое было тогда мне свойственно. В авторских описаниях возник интерес к «частному человеку», его психологии. Ну и, конечно же, захватывали первокурсника перипетии интимных отношений и любовных переживаний.

Я воодушевился, «нашел слог» и «начал с самого начала» – со становления жанра. Но Василий Яковлевич вскоре остановил меня и взял мою зачетку... Не заглянув в нее, я попрощался и вышел. Не отвечая на вопросы «болельщиков», ожидавших своей очереди «какой билет мне достался» и «почему я так долго отвечал?»; «как спрашивает Василий Яковлевич?»; «что мне поставил?», я ушел в дальний конец полутемного коридора и только там прочитал: «Отлично. В. Каплинский».

Вместо того, чтобы расслабиться, я стал размышлять над тем, что эта оценка означает, что за ней скрыто (сам себе я не поставил бы более четырех с плюсом). Может быть, Василий Яковлевич поощрил меня, как поощряют начинающего стайера<sup>21</sup>, который честно «выложился» в беге на короткую дистанцию, будучи к ней не готовым (так со мной уже было), или, может быть, просматривалось в моем ответе нечто, позволявшее ему надеяться, что я его оценку оправдаю? Во всяком случае, подумал я, нужно доказать, что Василий Яковлевич во мне не ошибся – и решил за время каникул написать реферат о романе Лонга «Дафнис и Хлоя».

\* \* \*

Но вернемся к началу семестра. Прочитав нам несколько лекций по античной литературе, Василий Яковлевич сказал, что все желающие могут по воскресеньям посещать его факультативный курс истории музыки.

Смею сказать, что для меня (как и для тебя) музыка не была terra incognita. Воронеж был городом музыкальным (а не только литературным и театральным). Симфонические концерты в зале Дворянского собрания (высокая культура публики, хороший оркестр и превосходная акустика). Частые приезды лауреатов музыкальных конкурсов – скрипачей, пианистов, вокалистов. Гастроли опер-

ных трупп на сцене драматического театра. Вечера русского романса в «Летнем театре». Выступления pro anima любительских камерных ансамблей в клубах и кинотеатрах. С ранней весны до поздней осени – «состязания» духовых оркестров, игравших в «раковинах» общественных парков. Фестивали народной музыки. Открытые выпускные концерты в музыкальном училище. И традиционное «домашнее музицирование»: в летнее время из окон старых деревянных домов слышались звуки *Приложение* фисгармонии<sup>22</sup>, гитары (слушал я в детстве даже семейную «детскую оперу»). И в моем доме (если можно назвать домом кое-как оборудованное под жилье складское помещение) посреди большой сводчатой комнаты (она и спальня, и гостиная, и классная, и кухня), подальше от сырых стен стоял старый «Услаль»<sup>23</sup>. По утрам мама упорно играла «Упражнения повышенной трудности» Ганона<sup>24</sup> (чтобы «держат руки в порядке»), а вечерами – Шопена, Чайковского, Листа, Рахманинова.

Что же дали мне, что значили для меня «воскресные чтения» Василия Яковлевича? Они были введением в искусство слушать и слышать музыку, осваивать ее ценности и по достоинству судить о них. Это были не лекции в привычном смысле, а непринужденные беседы. Он знакомил нас с наиболее представительными, «классическими» произведениями европейской и русской музыкальной культуры, позволяющими представить картину ее развития, – от становления новой системы музыкального мышления (Бах, Глюк, Гайдн, Моцарт) до начала XX века (Рахманинов, Глазунов, Скрябин, Дебюсси, Равель).

Обычная, «казенная» учебная аудитория. На низком деревянном подиуме из грубо выстроганных досок – рояль, круглый табурет-вертушка, два-три пюпитра и несколько стульев. Никакой аудиальной техники: ни проигрывателя и дисков с цифровой записью, ни магнитофона, ни стереофонических колонок. Тогда об электронике и ее возможностях не подозревали. Но возникал не представимый теперь эффект: ощущение причастности к непосредственно совершающемуся творческому действованию.

Входит Василий Яковлевич и приглашенные им музыканты. Они садятся в первом ряду, а он поднимается на подиум и начинает свои беседы-размышления. Он все время в движении (как бы прогуливается среди «стоа-пойкиле»<sup>25</sup>), подходит к инструменту. Если речь идет о симфонической музыке – играет переложенные в клавиур фрагменты; если о фортепьянных жанрах – приглашает к инструменту пианиста (Квицинского?) или играет сам то, что особенно любит: экспромты Шуберта, вальсы Шопена, страницы «Лирических тетрадей» Грига, «Времена года» Чайковского...

<sup>22</sup> Фисгармония (от греч. «phusa» – «мехи», «дутье», «harmonia» – «гармония») – духовой клавишный инструмент. Изобретен в 10-е годы XIX века. Современная фисгармония по форме напоминает пианино меньшего размера.

<sup>23</sup> «Услаль» – кабинетный рояль одноименной фирмы-изготовителя.

<sup>24</sup> Ганон Шарль-Луи (1819–1900) – французский композитор и пианист. Автор пьес и этюдов для фортепиано. Шестьдесят упражнений Района «Пианист-виртуоз» получили широкое распространение во всех странах.

<sup>25</sup> Стоа-пойкиле (древнегреч.) – колоннада в Афинах, получившая свое название от картин известного живописца Полигнота.

<sup>21</sup> Стайер (англ. «stayer» – букв. «выносливый человек») – спортсмен, состязющийся на длинных дистанциях.

Играл Василий Яковлевич не любительски, а профессионально. Глядя на пластичные, округлые движения его небольших рук, я удивлялся тому, как легко он брал октавы и четко «выговаривал» звуки, легко касаясь клавишей. Интерпретировал – без академического педантизма, но и без экзальтации: доверительно, передавая интонированием свое переживание и понимание. Его словесные истолкования произведений тоже были деликатными, ненавязчивыми, как сама музыка, которая вызывает настроения, а не называет их.

Потом мы слушаем скрипичную партию в сопровождении фортепьяно, струнный квартет, или вокалисты исполняют арии из опер и романсы. Вижу и слышу так ясно, как будто это было совсем недавно: поет романсы Чайковского солистка филармонии меццо-сопрано Ольга Ивановна Котова, супруга Василия Яковлевича. А он ей аккомпанирует...

Композиционное строение «воскресных чтений» было столь же нетривиальным, как и их содержание: общие обзоры чередовались с монографическими «медальонами». Вот схема одной из лекций: эпоха Моцарта // его открытия и шедевры // музыкальные экспликации // черты гения Моцарта // сороковая симфония // заключительный монолог Сальери из пушкинской «маленькой трагедии» // исполнение и сопоставление фортепьянных пьес Моцарта и Сальери // Чайковский о Моцарте.

Задумываясь над ценностью «воскресных чтений», вижу в них, помимо образовательного смысла, еще и духовно возвышающий. Душевный строй наш подобен музыкальному инструменту, регистр которого от природы более или менее богат. Но ведь его нужно еще и настроить. У музыки особая власть над нашей душой. Музыкальное произведение – не искусно сработанный акустический артефакт: это лад и гармония, преодоление хаотичности. И потому его восприятие и переживание – путь к преодолению нашей внутренней неустроенности, разлада, потерянности. Слушая звуки музыки, мы прислушиваемся к самим себе и поднимаемся над собой. Муза музыки помогает нам преодолевать нашу слабость и обретать надежду, без которой нет пути от несвободы – к свободе, «от страдания – к радости».

Теперь я на свой страх и риск читаю спецкурс о молодежной музыкальной культуре очередному «новому поколению». Оно увлечено и поглощено музыкой, ранее неизвестной, той, которую сама создает, в которой себя находит и утверждает. Читаю, стараясь различить в потоке поделок – художественные ценности (судя по ответной реакции, нахожу понимание). И спрашиваю себя: почему та музыка, которая звучала на «воскресных чтениях» Василия Яковлевича, музыка, создававшаяся веками, тогда так захватывала нас? Почему мы всю неделю ждали утренних часов выходного дня, которые превращали его в воскресенье не в табельно-календарном, а в исконном, духовном смысле этого слова? Конечно же, власть великой музыки не была, но между нею и теми, кому она так нужна, неразумная, бездарная система обезчеловеченного образования. Будем справедливы: не бывает «плохих поколений», но бывают поколения, покинутые на произвол обстоятельств, предоставленные самим себе в непонятном для них и враждебном им мире.

В нас не было ничего исключительного. Мы были не худшими и не лучшими – просто мы оказались в поле доброго воздействия, и потому число

вольносслушателей на «воскресных чтениях» не убывало, интерес к ним не угасал. Приближалась легкая сессия, нам предстояло расстаться с Василием Яковлевичем. И мы были рады узнать, что на втором или третьем курсе он будет вести занятия по древнегреческому языку.

\* \* \*

Когда наступили каникулы, я, помня о данном самому себе слове, не отправился (как это не раз было в школьные годы) вверх по реке на знаменитой «воронежской плоскодонке» (одновесельном рыбацком челноке, ладном, легком, устойчивом и всепроходном) мимо Лысых гор – в Чертовицы, затем на Козий плес, а потом еще выше – в заросшее кувшинками устье Усманки. Я остался в городе на все лето, чтобы дочитать недочитанное, домыслить недодуманное и попытаться написать реферат. Каждый день с утра я приходил в читальный зал университетской библиотеки, вобравшей, помимо положенных поступлений, частные собрания XIX – начала XX веков и уникальный «русский книжный фонд» Юрьевского (Тартуского) университета (он был вывезен в Воронеж в 1915 году во время наступления кайзеровских войск в Прибалтике). И, конечно же, я утонул в литературе вопроса. Оказалось, что, кроме художественных памятников, нужно знать повествования античных историков, трактаты философов, сочинения софистов.

Прошло две недели, и совершенно случайно, проходя мимо «газетного стола», стоявшего у входа в зал, я услышал, как кто-то, читавший свежий номер «Коммуны», удивленно воскликнул: «Каплинский умер!..». Я не сразу осознал и не сразу поверил, что это случилось. Я находился в том возрасте, когда наше «я» отвергает мысль о предстоящем небытии – своем и тех, кто нам дорог. Известие о внезапной смерти Василия Яковлевича я воспринял как нарушение «порядка вещей», как несправедливость...

Похороны состоялись 10 июля 1939 года во второй половине дня. Было время отпусков. Разъехались и преподаватели, и студенты. Среди тех, кто пришел проститься с Василием Яковлевичем, из моих сокурсников было только несколько человек. Путь лежал от института – по Петровскому спуску – через Чернавский мост, а потом – по мощеному крупным булыжником и обсаженному тополями тракту, проложенному по левому берегу реки, чистые воды которой вольно сбегали к Дону, разделяясь на протоки и огибая песчаные островки, поросшие красноталом. Через версту тракт и река расходились: река – влево, а столбовая дорога – на север, в Придачу – и там разделялась на три грунтовые (в сторону реки – на Отрожку, прямо – в Отрадное, вправо – на Монастырщину). За развилкой на взгорке стояла ветшающая, без креста, церковь. За церковью – тихое, полусельское кладбище.

На гражданской панихиде я присутствовал впервые, и все совершавшееся противоречило моим представлениям о достойном прощании. Привожу записанное на следующий день 11 июля 1939 года. «При въезде на кладбище траурная процессия остановилась. Я подумал – для того чтобы мы могли снять гроб с грузовика и дальше понести Василия Яковлевича на руках. Но оказалось, что его к месту упокоения не пропускают. Недостает какой-то справки или печати... Возмущенный "танат"<sup>26</sup> с

<sup>26</sup> Танат – здесь «слуга смерти».



черной повязкой на рукаве что-то долго втолковывал кладбищенскому смотрителю. Наконец дозволение было получено. Двинулись дальше: впереди – смотритель, за ним: – грузовик, натужно завывавший перегревшимся мотором, оставляющий за собой клубы бензиновой гари.

У могилы остановились, опустили Василия Яковлевича на землю, а кузов с откинутыми бортами превратили в импровизированную трибуну. На нее подсаживали желающих произнести последнее слово. Первым выступил представитель дирекции. В руке он держал какую-то папку. Начал так: "Профессор Каплинский был эрудированным специалистом. Он представлял собой соединение знаний с умением сообщать их студентам". Производственная характеристика... Потом поднялась на полку грузовика ученица Василия Яковлевича Александра Дмитриевна Китина и сказала слова человеческие, что прожил он лишь половину возможного срока и не сделал всего, что мог и к чему готовился... После нее бодро забрался на "трибуну" студент старшего курса, профсоюзный деятель и "штатный выступала" Митроша. Тараща цыганские глаза и расширяя зрачки, понес ахиною: "Мы сегодня хороним Василь Яковлеча, профессора Каплинского, который всю культуру, которую создали представители буржуазной культуры, знал, но у себя не задерживал...". Чтобы не слышать, что он еще скажет, я ушел в сторону церкви... Вернулся, когда гроб опускали в могилу. Ольга Ивановна смотрела истомленно, отрешенно. Потом закрыла лицо цветами, которые всю долгую дорогу несла в руках».

На обратном пути, уже в сумерках (шел одиннадцатый час пополудни, город за рекой посверкивал огнями), я думал о том, как ей теперь тяжело. Василия Яковлевича хоронили в закрытом гробу, и он остался в нашей памяти таким, каким мы его знали при жизни. Ольга Ивановна будет его помнить не только живым, но и в страдании, и в смерти.

\* \* \*

Я начал перебеливать написанное, чтобы отослать тебе в Воронеж, и тут пришло от тебя известие. Пишешь ты, что церковь на Придаче сохранилась и что верующие ее восстанавливают, но могилу

Василия Яковлевича невозможно найти, так как остались от захоронений лишь земляные валки. Знаешь, Володя, все-таки лучше Василию Яковлевичу лежать там, на погосте. В сорок седьмом году, отслужив пять лет в армии, я вернулся в Воронеж. Ходил по городу, всматривался в лица изуродованных, но все-таки устоявших домов, мысленно восстанавливал по останкам обгорелых стен дома, вконец разрушенные... Было горько, но объяснимо: бомбежки, пожары, артобстрелы, да еще, оставляя город, педантичные немцы уничтожили все, что смогли уничтожить. А вот когда я пришел на чугуновское кладбище, то предстала передо мной картина более страшная. Во исполнение призоилной «задумки» отцов города склепы <sup>Приложение</sup> гробные плиты и изваяния «утилизировали», чугунные кресты и решетки отправили в переплав, вековые деревья почти все вырубил. Некрополь – пусть не великий, но примечательный памятник истории города, архитектуры, скульптуры – превратили в гульбище: воздвигли катальное колесо, карусели, танцплощадку, стрелковый тир и несколько водочно-пивных ларьков. Дабы было питье и веселие. Воронежцы стали называть это творение соцкультуры «Парком живых и мертвых».

Вот и думаю я: хорошо, что могила Василия Яковлевича – пусть и безымянная среди других безымянных могил – сохранилась. Ты прав: Василий Яковлевич – один из таких людей, на которых держится мир. Мир духовной культуры, мир как лад и согласие. Он сделал для нас много доброго в темное время, когда старательно уничтожалась память о прошлом и насаждалось историческое и культурное беспамятство.

Если бы его могилу удалось найти (понимаю, что это невероятно) и если бы, в числе других его учеников, спросили меня, как подобает ее означить, я ответил бы так: в лекции о древнегреческой лирике Василий Яковлевич говорил нам о том, что эллины ставили у стен своих городов и при дорогах надгробные стелы и высекали на них эпитафии – краткие, поэтические и непреходящие по смыслу. Давайте последуем им и найдем немногие, простые, всем говорящие слова: «Я был. Я ушел. Я с вами».